

О концепции политической культуры, или Основная ошибка советологии

Н. Петро

ПЕТРО Николай Н., профессор кафедры политологии, Университет Род-Айленд (США).

Восприятие российской политической культуры как монолитной и неизменной сыграло с советологией злую шутку: ее ведущие представители оказались не в состоянии предсказать поражение коммунизма и распад советской системы. Почти все специалисты по советской политике сходились в том, что российская политическая культура — более авторитарная и коллективистская, чем культура Северной Америки или Европы, и в силу этого победа в России демократического движения принципиально невозможна.

Перестройка, однако, продемонстрировала явную неадекватность подобной оценки России. Поразительный подъем гражданской активности после 1987 г. абсолютно не соответствовал распространенному в западной науке образу русских как политически пассивного народа. При этом не выглядели убедительными и общепринятыми в новейшей советологии объяснения случившегося за последние десять лет, согласно которым причины политических перемен в Советском Союзе сводились лишь к общему успеху модернизации во всем мире или к одиноким усилиям М.С. Горбачева. Они не только не отвечали на наиболее острый вопрос современной истории России: почему режим этой страны, переживший гражданскую войну, ужасающие внутренние перевороты и иностранную интервенцию, внезапно развалился как картонный домик, — но и нисколько не раскрывали причин широкой популярности демократических ценностей (характерных для развитых гражданских культур) среди российского населения.

Традиционная западная советология исходила, как можно сегодня убедиться, из ошибочной гипотезы. Она не учитывала, что стремление к восстановлению гражданского общества, к строгому соблюдению буквы закона, разлитию институтов частной собственности, свободного предпринимательства и политического плюрализма существовало в России еще до того, как развалился советский режим и началась перестройка. К концу 1991 г. это стремление стало столь же сильным, как и в феврале 1917 г., так что ни у кого из российских граждан уже не возникло желания ревностно защищать умирающий режим и его ценности. Советология не смогла определить наиболее слабое место, своеобразную "ахиллесову пятю" коммунистической системы, и большую часть вины за этот теоретический просчет следует возложить на распространенное в западной политологии одностороннее представление о феномене политической культуры.

В 1960-е годы, когда новое поколение советологов искало альтернативу устаревшему тоталитарному подходу к объяснению коммунизма, обращение к понятию "политическая культура" казалось идеальным инструментом для изучения политических систем, позволяющим ответить на вопрос, почему одни из них отличаются большей стабильностью, а другие — меньшей. Данный подход позволял вовлечь науку о советском строе в основное русло сравнительно-политологических исследований. Отсутствие проверенных социологических данных о коммунистических обществах могло быть восполнено (согласно избранному подходу) материалами мемуаров, интервью, литературных произведений и исторических исследований. В результате применения новых методов в западной науке получило всеобщее распространение представление об авторитарном политическом наследстве России и оформилась точка зрения, согласно которой Советский Союз являл собой "драматически успешный случай спланированной политической культуры" (1).

Считая политический официоз советских лет выражением народных ожиданий, большинство западных аналитиков отказалось признать, что демократия (точнее, народовластие) имеет глубокие корни в русской истории. Чтобы не впасть в очередной раз в ту же ошибку, исследованиям политической культуры России нельзя игнорировать русскую эмиграцию, диссидентские группы внутри СССР, и вместе с тем непозволительно не обращать внимания на политику посткоммунистических руководителей РФ. Альтернативная авторитарной, демократическая политическая традиция России, сохранявшаяся в "подполье" на протяжении жизни не одного поколения советских граждан, только в конце советской истории стала определять настроение всего общества. Эта альтернативная культура, или как называет ее К. Гиртц, российская "политическая воображаемая" (2), не может быть сброшена со счетов при анализе истории страны, иначе не только перестройка, но и события 1905 и 1917 гг., когда русская общественность вступила в борьбу с царским авторитаризмом, останутся для ученых неразрешимой загадкой.

Господствующее направление в изучении политической культуры, однако, не признавало сосуществования внутри одной нации двух альтернативных культур. Поэтому советологи, сторонники этого направления, не допускали наличия альтернативной политической культуры в России и других коммунистических странах. Тогда как иной, интерпретирующий, подход к исследованию политической культуры, рассматривающий не только ее направленность, но и смысловые параметры, я полагаю, оказался бы более адекватным для объяснения не только краха коммунизма, но и быстрого распространения в постсоветском обществе некоммунистических, собственно демократических ценностей.

Исследование оппозиционных коммунистическим политико-культурных ценностей делает необходимым сосредоточение сразу на трех уровнях рассмотрения российского общества. Выбор первого из них заставляет отказаться от концепции "нового советского человека", который якобы возник в российском обществе. Дело в том, что почти в каждой сфере жизни, исповедуя какую-либо религию или проявляя любовь к "деревенской прозе", простые советские люди демонстрировали довольно определенное неприятие коммунистических ценностей. Желание сохранить альтернативную ценностям официальной идеологии религиозную, культурную и национальную идентичность, возникшее у самих русских уже при прежнем режиме, объясняет неожиданное воскрешение в настоящее время таких символов дореволюционной эпохи, как трехцветное знамя, сине-белый флаг Св. Андрея, двухглавый орел, эмблема Св. Георгия, храм Христа Спасителя и исконное название северной столицы.

Второй уровень рассмотрения политической культуры "советского народа", оказавшийся неучтенным советологией, — неформальные каналы передачи запрещенной информации, например, о реальной цене коллективизации, религиозных преследованиях, ужасах ГУЛАГа или деятельности общественной оппозиции режиму. Рассекреченные российские архивы могут многое рассказать о подпольных организациях, распространявших эту информацию внутри Советской России, также как и об участии в этом процессе русской эмиграции.

Третий уровень, в наибольшей мере касающийся сферы политики, — это оппозиция режиму, существовавшая как внутри страны, так и за ее пределами. В 1960-х и 1970-х годах поиск альтернативы коммунистическому строю породил движение за "гражданские права" и политическое диссидентство. В 1980-х он способствовал перестройке. В начале 1990-х энергии такого поиска хватило на то, чтобы победить ослабевавший аппарат репрессий и вывести на общественную сцену "неформальные" политические организации, создав тем самым предпосылки к возникновению нового общественно-политического строя.

Весь этот массив данных, требующих взвешенного исследования, не использовала западная советология, оказавшаяся в плену у чересчур одностороннего подхода к анализу политической культуры, который можно назвать "поведенческим". Кратко опишем сущность и генезис "поведенческого" подхода и попытки его приложения к советскому опыту.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД

Хотя выявление специфических культурных признаков тех или иных политических систем старо, как сама политическая наука, современному употреблению термина "политическая культура" около сорока лет. Впервые он был предложен Г.Алмондом в статье "Сравнительные политические системы" (3, с.391-409), где автор определил политическую культуру как "специфический образец ориентаций к политическому действию". Каждая политическая система, утверждал он, функционирует в рамках специфического образца такого рода ориентаций, следовательно, для каждой из систем существуют определенные ограничения, учитывая которые, можно прогнозировать дальнейшее политическое развитие.

Концепция "политической культуры" имела в качестве одной из своих задач увеличить политическую активность общественной науки, условно говоря, легитимизировать экспорт демократической политики с помощью воспитания идеально соответствующей ей культуры. Действительно, многие из последующих работ Алмонда и его коллег, С.Вербы и Л.Пая, посвящая "демократической модернизации", способствовали созданию своеобразной формулы, следуя которой западные государства могли бы оказывать поддержку демократическому развитию стран третьего мира. Алмонд признавался, что политическая суматоха, все более захватывающая мир, не позволяет изучать политику в Европе и Азии отстраненно и равнодушно, т.е. лишь "с некоторым любопытством или... как интересную патологию" (3, с.391).

Полагая вслед за Т.Парсонсом и Э.Шилзом, что культура не может быть идентифицирована с любой конкретной системой действий, Алмонд доказывал, тем не менее, что политическая культура связана с "эмпирически заметным поведением" (3, с.393). Алмонд опирался при этом на работу Г.Лас-суэлла, посвященную психологическим измерениям политического поведения. Однако в то время, как Лассуэлл считал, что политические системы функционируют независимо от субъективных ориентаций индивидуумов, Алмонд утверждал, что исследование их субъективно-психологических предпочтений позволит понять развитие сообщества в целом, ибо характер всего политического процесса в целом зависит от верований, чувств и настроений участвующих в нем людей. Для сбора необходимой информации ученый использовал методы опросов населения, которые в то время стали широко применяться для выяснения мнения американского электората.

В работе "Гражданская культура" Алмонд и Верба попытались определить политическую культуру, свойственную стабильной современной демократии. Такого рода политическая культура, названная "гражданской", была охарактеризована авторами как культура смешанная, т.е. "не традиционная, не современная, а частично и та, и другая." Плюралистическая культура, подчеркивали Алмонд и Верба, основана на связях, убеждении и согласии. Это культура, которая разрешает реформы, но одновременно сдерживает их" (4, с.8), легализует политическую активность индивида и одновременно не слишком поощряет ее. Одно из основных условий демократической стабильности, таким образом, состоит в балансировании противоположных импульсов: к развитию, с одной стороны, и к постоянству, — с другой.

Несмотря на то, что выводы авторов "Гражданской культуры" касались только небольшой группы демократических стран, их работа скоро стала своего рода эталоном для всех других исследований подобного рода. Спустя два года под редакцией Вербы и Пая вышел сборник, в котором была сделана попытка применить политико-культурный подход к исследованию большего количества государств, в т. ч. и Советского Союза (5). В 1973 г. профессора Гарвардского университета С.Бир и А.Улам использовали методологию Алмонда и Вербы в своих известных учебниках "Модели управления" (Patterns of Government). Комментируя необычайно быстрое принятие концепции политической культуры современной сравнительной политологией, Р.Тагер заметил не без иронии, что "политико-культурный подход в настоящее время прочно вошел в культуру американской политической науки" (6, с.175).

Не обошлось и без встречной критики, выявившей четыре наиболее существенных недостатка теории политической культуры. Так, в первую очередь, критиками была отмечена односторонняя зависимость методологии Алмонда от бихевиоризма, поведенческого подхода в политической науке. Бихевиористы, как известно, считали, что политика должна изучаться методами точных наук, и, соответственно, предметом политического анализа следует стать эмпирически измеренное поведение. Социологическая выборка, интервьюирование, математическая обработка полученных данных, статистический анализ являются необходимыми компонентами научного анализа политического поведения, формирующегося якобы независимо от нормативных или культурных ориентаций индивида.

Когда в середине 70-х годов бихевиоризм подвергся критике, ведущим исследователям политической культуры, опиравшимся на поведенческий подход, вменялась в вину именно попытка создания "научной теории демократии" (4, с.12). Оппоненты полагали, что поведенческий подход к политической культуре как раз не является научным, ибо согласно ему именно межличностные отношения определяют долгосрочную поддержку той или иной политики. Характерное для бихевиоризма рассмотрение маленьких социальных единиц как больших Х.Эйлау назвал "ошибкой олицетворения" (Цит. по 7, с.554).

Односторонняя приверженность бихевиоризму проявилась и в другом недостатке политико-культурных исследований. Поддержка официальной политики населением доказывалась просто существованием и функционированием конкретных властных институтов. Так, легко было заявить, что органы власти в Советском Союзе в своей деятельности выражают ценностные предпочтения народных масс, ибо обосновать обратное невозможно. Авторам "Гражданской культуры", кажется, и не приходила в голову идея, что индивид может счесть выгодным скрывать свои истинные политические чувства как от официальных властей, так и от интервьюеров. К этой методологической ошибке добавлялась и другая: зачастую реальность существования определенной политической культуры доказывалась на примере характерного для нее типа поведения, а последний в свою очередь объяснялся спецификой той же самой политической культуры.

Наконец, недостатком модели гражданской культуры было признано и преувеличение прочности связи между политическими институтами и политической культурой, что, как уже подчеркивалось, просто оставляло непонятным существование в системе альтернативных политико-культурных ценностей ¹. В коммунистических обществах, по этой логике, вообще отсутствовали какие-либо культурные ценности, отличные от государственных. Признавая все же невозможность полной ценностной однородности внутри социума, сторонники модели гражданской культуры соглашались с тем, что некоторые "фрагментированные" общества включают в себя и "субкультуры", не совпадающие с доминирующей политической культурой. Происхождение такой фрагментации ученые, как правило, объясняли расовым, профессиональным и иным разнообразием политического сообщества, а также неравным уровнем доходов среди его членов. "Субкультуры" образуются из групп населения, политические ориентации которых "сильно отличаются" от преобладающих в обществе. Вместе с тем они изолированы также и "друг от друга противоречащим и несовместимым

отношением к политической жизни” (9). Типичными примерами такого рода групп являются религиозные или этнические меньшинства, например, население Северной Ирландии, Квебека и пограничных районов Индии и Пакистана. Термин “политическая субкультура” поэтому нерелевантен для описания альтернативных течений российской политической культуры, сумевших объединить различные этнические группы и социальные слои в общем стремлении к демократии и гражданскому обществу.

Возможно, наиболее серьезный вызов поведенческому подходу был брошен “интерпретирующей теорией”, поставившей под сомнение ставшее традиционным понимание “политической культуры” как совокупности способов поведения в политике. К ее рассмотрению вернемся в завершающей части статьи. Сейчас же перейдем к вопросу о том, как господствующий подход к политической культуре был использован западной советологией.

ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕТОЛОГИИ

На первый взгляд, теория политической культуры кажется плохо применимой к советологии. Естественное поле приложения этой концепции — мир западных демократий, где легко осуществим сбор эмпирических данных, необходимых для верификации любой гипотезы относительно степени распространения в обществе тех или иных политических ценностей. Недостаток реальных данных, действительно, стал серьезным препятствием для использования модели гражданской культуры при изучении политической жизни коммунистических стран, но преимущества данного подхода показали советологам все же более значительными.

Популярность концепции политической культуры в советологии, начиная с 60-х годов, была обусловлена ее способностью объяснить неожиданную стабильность коммунистического режима после начала хрущевской оттепели, т.е. после значительного снижения уровня государственного насилия и прекращения массовых репрессий. Одновременно теория политической культуры предоставила ученым возможность понять истоки тех политических различий (становившихся нередко поводом к настоящей вражде), которые начали проявляться с этого времени в лагере социализма. Анализируя государственную практику отдельных социалистических стран в соответствии с их национальными особенностями, концепция политической культуры фактически помогла созданию новой дисциплины — сравнительного изучения коммунистических систем. Наконец, тот же подход позволил советологам сосредоточиться на проблеме постепенных политических изменений советского строя, ибо, с точки зрения сторонников так наз. тоталитарной модели, трансформация системы после смерти Сталина вероятнее всего привела бы ее к полному краху. Напротив, приверженцы концепции политической культуры отвергали подобные ожидания революционного переворота как чистый миф. Советский режим, с их точки зрения, опирался на значительную общественную поддержку в огромной степени по причине “совместимости традиционных представлений и верований россиян с действиями и основополагающими целями большевиков” (10, с. 36).

Теоретическая дисциплина может считать себя подлинной наукой только в том случае, если ее принципы имеют универсальное применение, поэтому не стоит удивляться тому факту, что использование политико-культурного подхода при изучении советского опыта приветствовалось бихевиористами и вызвало немалый интерес и у части несветологов. К.Клакхон, влиятельный сторонник прикладной социологии, руководивший Русским исследовательским центром Гарвардского университета, разработал программу исследований послевоенного периода. Один из основных проектов был прямо нацелен на создание “рабочей модели” Советского Союза и на последующее использование ее при анализе других развитых промышленных стран (11). В рамках этого огромного проекта, известного как Гарвардский проект по советской социальной системе, в Европе и США в 1950-1951 гг. было опрошено свыше трех тысяч беженцев из СССР.

Вклад Гарвардского проекта в область советских исследований трудно переоценить. Определившееся благодаря ему концептуальное видение советского общества сформировало не одно поколение ученых, а данные, полученные в ходе опросов беженцев, повсеместно цитировались как авторитетная оценка отношения большинства советских граждан к режиму в их стране (12). Несмотря на многие значительные события, последовавшие с тех пор, Гарвардский проект оставался вплоть до краха коммунизма в 1991 г. единственным серьезным исследованием советских общественных ценностей.

Каковы же оказались конкретные результаты проекта? Его руководители А.Инкелес и Р.Бауэр обнаружили, что несмотря на отдельные претензии граждан к режиму, в частности, к колхозной системе и произволу спецслужб, подавляющее большинство жителей Советского Союза поддерживает установившийся в стране социально-политический строй и в целом положительно оценивает его достижения (13, с. 392-393). Начавшееся исправление преемниками Сталина тех недостатков системы, которые вызывали наибольшее неудовольствие населения, позволило ученым десятилетие спустя после опросов сделать вывод даже о вероятном усилении популярности режима по мере предполагаемого повышения уровня жизни (13, с.242).

Отмечая, что значительная часть бывших граждан СССР предпочла бы “изменить все” или “не оставить ничего” в советском общественном и политическом строе, Инкелес и Бауэр указывали, однако, на положительную оценку теми же самыми респондентами советских систем здравоохранения и образования. Это противоречие ученые объясняли лишь желанием бывшего гражданина СССР не замечать тот факт, что столь высоко ценимыми им преимуществами обеспечила его именно социалистическая система (13, с.235). Типичная для советского человека привязанность к ценностям собственного общества, по мнению Инкелеса и Бауэра, мало чем отличалась от аналогичной привязанности американского гражданина, различия между их политическими предпочтениями были связаны со специфическими чертами культурного наследия русских и американцев (13, с. 392).

Хотя Гарвардский проект предшествовал расширенному применению концепции гражданской культуры почти на десятилетие, его результаты во многом повлияли на это направление исследований, подтвердив, например, один из базовых принципов концепции, согласно которому специфические ценности политической культуры могут быть выведены из факта существования соответствующих им политических институтов. Руководители Гарвардского проекта, однако, не учитывали возможность иного — и не менее удовлетворительного — объяснения противоречий в ответах респондентов, т.е. отмеченного расхождения между общим отрицанием ими ценностей системы и приятием некоторых из ее учреждений. Дело в том, что одобрение социальных преимуществ могло отражать озабоченность индивида благосостоянием общества, а не согласием, пускай и бессознательным, с политической системой. Социальные преимущества советского общества опрашиваемый мог считать достигнутыми не благодаря, а вопреки режиму. Кстати, такие факты, как сохранение традиций образования и улучшение жизненного уровня в некоторых сельских районах после коллективизации, действительно, едва ли следовало бы относить к заслугам советской власти (13, с. 233-246).

Одно из исследований, посвященных результатам Гарвардского проекта, принадлежит И.Д.Лондону. Изучив ответы советских эмигрантов на вопросы анкеты, Лондон обнаружил, что отвечающие понимали вопросы иначе, чем аналитики, в результате чего возникло фундаментальное разночтение между сказанным респондентами и услышанным командой

Гарвардского проекта (14, с.1011-1109). Лондон проанализировал и внимательно изучил ответы сотни эмигрантов на вопросы, касающиеся выбора профессии. Раздел II обзора с интерпретацией этих ответов считался несложным и наименее политически спорным. По версии Гарвардского исследования, большая часть советских граждан была удовлетворена имеющейся у них свободой выбора профессии и конкретно своей работой. Респонденты самого Лондона, однако, сообщили, что вопросы о профессии показались им непростоими, ибо точные ответы позволили бы связать их с правящими (партийными, хозяйственными, военными и т.д.) группами в СССР и помешать тем самым иммиграции в Соединенные Штаты. Большинство признало, что пыталось уклониться от правдивых и полных ответов. Кстати, впечатление о некоторой неискренности отвечающих подтверждает и наблюдение самих Инкелеса и Бауэра о резко различающихся показаниях респондентов об их членстве в ВЛКСМ. Ни один из семи опрошенных, признавшихся в принадлежности к комсомолу в личном интервью, не сделал того же в анкетном опросе (13, с. 54). Лондон обращает внимание и на случаи неадекватного перевода слов респондентов, а также на некоторые фразы в анкетном опросе, которые не были лишены просоветского акцента 2.

Интересно, что фактически по тем же причинам раскритиковали обзор Инкелеса и Бауэра и печатные органы русской эмиграции. Враждебность эмиграции сами авторы в последующей своей работе объяснили простым непониманием цели обзора (13, с.12). Однако при внимательном прочтении статей, появившихся в эмигрантской печати, не может ускользнуть то обстоятельство, что критика была направлена не на задачи, а на методологию исследования. Эмигранты подвергали сомнению ценность информации, полученной при подобного рода обзоре, а не сбор информации как таковой, вопреки точке зрения Инкелеса и Бауэра (цит по: 14). Все же мнение о методологических и, самое главное, интерпретационных ошибках гарвардских исследователей не оказало значительного влияния на репутацию их работы.

Конкретные выводы Инкелеса и Бауэра были таковы: 1) группой, наименее враждебной к режиму, является интеллигенция, а наиболее враждебной — «обычные рабочие» и «колхозники»; 2) молодое поколение в основном принимает советские ценности; 3) представители управленческого состава и технической интеллигенции не проявляют особого, по крайней мере, недовольства системой. Жизнь, как мы знаем, показала обратное: творческая интеллигенция и молодежь были наиболее разочаровавшимися в социалистическом строе слоями общества. Именно в этих группах в конце 60-х годов возникло инакомыслие, быстро распространившееся и среди представителей технической интеллигенции. В начале 80-х годов недовольство системой достигло верхов Коммунистической партии (15). Кстати, многие последующие интервью с советскими эмигрантами 70-х годов доказывали, вопреки выводам Гарвардского проекта, что именно молодое, более образованное поколение было наименее лояльным к режиму (16).

Мне представляется, что Инкелес и Бауэр не сумели оценить серьезность социального недовольства в Советском Союзе по причине двух концептуальных ошибок. Во-первых, они были уверены, что экономика СССР функционирует вполне успешно и общество благополучно развивается в индустриальном плане. По этой причине, считали они (подобно С.Хантингтону и З.Бжезинскому в их ранней работе «Политическая власть: США/СССР» (17), Советский Союз в скором времени будет напоминать другие развитые промышленные страны. Ученые никак не предполагали последующего краха советской модели производства. Во-вторых, Инкелес и Бауэр исходили из априорного убеждения, что русские одобряют «патерналистское государство с чрезвычайно широкими полномочиями», несмотря на все его минусы, тем не менее, отвечающее их интересам (13, с. 246-247). К сожалению, у этих советологов просто не оказалось в запасе никакой альтернативной концепции российской политической культуры, которая позволила бы им проверить противоречивые данные обзора и пересмотреть свои исходные предположения. В итоге, преуменьшив конфликтный потенциал в советском обществе, они преувеличили степень наличествующего внутри него ценностного согласия.

Гипотезу гарвардских исследователей разделяли в общих чертах и ученые Колумбийского университета, которые годом раньше своих коллег создали группу по изучению отношения советского общества к власти во главе с известным антропологом М.Мид. Эксперты из этой группы обнаружили, что модели власти, характерные для советского строя, адекватны уходящим вглубь истории России психологическим предпочтениям ее народа, представителями которого Мид описывала как «склонных к чрезвычайным колебаниям в настроении, от волнения до депрессии, ненавидящих власть и все же чувствующих, что сильная центральная власть необходима для сдерживания их собственных импульсов» (18, с.26). Группа Мид, в свою очередь, опиралась на исследования Д.Горера (сотрудника русского исследовательского отдела Колумбийского университета по проекту современных культур), попытавшегося создать модель «русского характера». В ряде сочинений, написанных в соавторстве с Д.Рикманом, Горер доказывал, что русские люди, предрасположенные в определенные моменты своей жизни к экстремальному поведению и насилию, одновременно без особого сопротивления подчиняются грубой власти (см.: 18, с. 9; 19). Так как Горер и Рикман объясняли эти черты русского характера практикой тугого пеленания младенцев после рождения, их теория получила известность как «дайперология» (от *diapers* — «подгузники»).

Исследования Гарвардского и Колумбийского университетов, казалось, давали исчерпывающее для западных наблюдателей объяснение загадочной прочности столь репрессивного режима, каким был советский строй. Это объяснение совпадало с тезисом Алмонда и Вербы, рассматривавших в качестве основного показателя стабильности системы соответствие между ее политическими учреждениями и свойственной ей политической культурой. Одна из первых попыток применить модель гражданской культуры к Советской России, таким образом, подтвердила идею о том, что источник стабильности коммунистического строя надо искать в адекватности большевистской идеологии традиционным ценностям русского народа (10, с. 36).

Крупный поворот в советологии произошел в 1974 г., когда А.Браун опубликовал свою, справедливо признанную выдающейся, книгу «Советская политика и политическая наука», открывшую дополнительные источники для изучения советской и русской политических культур (20). Браун полагал, что научный анализ политической культуры населения СССР не должен пренебрегать такими источниками, как:

1. Художественная литература (Браун настаивал на включении беллетристики в число научных источников, полагая, что в коммунистических странах писатели имеют некоторую свободу в выражении собственного мнения);
2. Мемуары (официально опубликованные в СССР и распространенные через «самиздат», а также те, что издавались эмигрантами на Западе);
3. Исторические сочинения (по какой-то причине Браун, анализируя и официальных советских, и дореволюционных русских историков, проигнорировал историков-эмигрантов, получивших образование в России, писавших для русских журналов и считавших себя продолжателями русской культурной традиции);
4. Официальная программа воспитания «нового советского человека» (отмечая зазор между официальной догмой о «советском человеке» и его реальным обликом, Браун, однако, оставил в стороне тот литературный жанр, где это

расхождение проявилось в наибольшей мере — анекдоты, песни и поговорки, — как известно, довольно ярко выражавшие подлинное общественное мнение);

5. Советские социологические исследования (Браун, считая необходимым принять во внимание сочинения такого рода, вместе с тем признавал, что большая их часть только косвенно связана с задачами науки);

6. Западные социологические исследования, посвященные СССР (высоко оценивая, в частности, Гарвардский проект, Браун утверждал, что необходимо поверить его результаты другими данными);

7. Опросы общественного мнения жителей СССР и различные интерпретации российской истории (Браун опять же привел огромное количество источников такого рода, предупредив о том, что использовать их следует только в методологическом сочетании с другими материалами).

Соединение всех этих материалов при исследовании советской политической жизни действительно могло дать совершенно новые результаты. Однако Браун в своей работе в основном лишь подтвердил прежние, или априорные, предположения советологов о характере российской политической культуры. Причина этому мне видится в его не критическом отношении к свидетельствам, подлежащим, в принципе, самым различным интерпретациям. Краткий обзор выбранных Брауном источников показывает, что их наиболее существенная черта — оценочная субъективность. Чтобы обезопасить себя от ошибок, Браун предлагает принимать во внимание только те точки зрения на российскую культуру и историю, которые подтверждены другими свидетельствами, но так как всякая выборка производится довольно субъективно, это ограничение несложно обойти. «Понимающему» исследователю не так уж трудно в огромном массиве литературы обнаружить в различных сочинениях несколько совпадающих мнений об отличительных качествах политической культуры России.

Принимая во внимание степень субъективности подобных изысканий, С. Уайт совершает еще один логический шаг: сама история страны становится для него как бы эталонным тестом для проверки устойчивости фундаментальных российских политических ценностей. Начав свою работу с довольно сомнительной предпосылки — признания исторического опыта народа фундаментальным критерием для определения специфики его политической культуры — он пришел к заключению, что советская политическая культура является в действительности российской, «корнями уходящей в исторический опыт столетий абсолютизма» (21).

К сожалению, выбор Уайтом исторических источников был не менее субъективен, чем Брауна. М.Маколи очень точно замечает по этому поводу: «Теоретики политической культуры хотят доказать, что прошлая культура — это основной фактор в формировании сегодняшней культуры. Достаточно справедливо. Но тогда отношения должны быть расшифрованы. Это можно сделать, исследуя и отклоняя объяснения сегодняшней культуры, которые не включают прошлую культуру как переменную, и отслеживая процесс, согласно которому восприятия передаются во времени. Странно, что субъективисты не делают этого» (22, с. 23).

Несмотря на эти недостатки, субъективистский подход к политической культуре стал общепризнанным в советологии на протяжении 70-80-х годов, постепенно вытесняя господствовавший ранее поведенческий подход. Исследования по советологии, используя, таким образом, большее число источников, стали признанной и весомой частью политической науки. К середине 80-х годов представление о том, что репрессивная ориентация советского государства обусловлена российской политическо-культурной традицией, приобрело популярность настолько, что Уайт, редактор ведущего в этой области журнала «Советские исследования» (в настоящее время — «Исследования Европы—Азии»), отмечал даже: «едва ли в чем-то еще существует такое искреннее согласие ученых» (22, с.66).

ФЕНОМЕН ГОРБАЧЕВА КАК ПРЕДМЕТ СОВЕТОЛОГИИ

Концепция политической культуры, приспособленная к советологии, укрепила мнение о преимуществах советского периода истории по отношению русскому дореволюционному, а также о господстве авторитарных тенденций в культуре каждого из них. В итоге советологии приходилось неизменно подчеркивать стабильность и популярность коммунистического режима. Среди аналитиков Советского Союза сторонники субъективистского подхода к политической культуре были самыми яркими адептами идей популярности социализма среди русских людей и маловероятности отвержения ими советской системы. Они решили, что советская история вступила в фазу политического штиля как раз в то время, когда недовольство режимом выступало уже рифмами из, казалось бы, спокойного океана повседневной советской действительности.

И нам опять же следует вернуться к высказанной ранее точке зрения о том, что наиболее распространенный подход к политической культуре позволяет только одному доминирующему течению определять ценностную ориентацию нации, не оставляя никакого шанса на быстрые или всеобщие изменения соответствующей ей идентичности. Алмонд выделяет такие «исконные ценности и обязательства», которые определяют политическую культуру, как этническая принадлежность, национальность и религия. Основные ценности в этих трех областях, говорит он, «почти неразрушимы» (1, с.150). Изменения крупного масштаба в любой из них происходят только в исключительных обстоятельствах, например, в результате переворотов.

Эта формула содержит очевидный парадокс. С одной стороны, если политическая культура должна служить надежным стандартом, она должна быть стабильной, и ее содержание — ясно определенным. С другой стороны, чрезмерно статичная фиксация политической культуры ограничивает способность общества развиваться. Разрешение проблемы, говорит Алмонд, — в том, чтобы различать «основные политические верования и ценности» и колебания политических настроений (1, с.150-152). Концепция гражданской культуры утверждает, что такие различия могут быть сделаны на основе учета степени всеобщего доверия политическому руководству и меры легитимности политической системы. Если режим не отражает всеобщие политические ценности, то он определенно будет свергнут. Согласно Б.Бэрри, смена режима является лучшей естественной проверкой утверждений о реальности той или иной политической культуры (23). Почти все советологи, безотносительно к тому, как они определяли политическую культуру, соглашались с Бэрри.

Концепция политической культуры в такой версии едва ли могла помочь в объяснении или понимании феномена Михаила Горбачева [3](#). Его появление у власти, по идее, должно было обеспечить идеальную проверку точки зрения, согласно которой советская политическая культура — прямое продолжение политической культуры дореволюционной России. Теория политической культуры оказалась просто обязана пролить свет на проблему, которая с 1985 г. стала основной для советологии, — приход к власти Горбачева. Специалисты по советской системе спорили, чем является

“перестройка” — возвратом к ценностям докоммунистического общества или выражением надежд и чаяний некоей культурной подгруппы ?

Конечно, существуют многочисленные исследования, объясняющие политику Горбачева спецификой его личности, образования, воспитания и т. д., но все они не отвечают принципиально на вопрос, как человек, подобный Горбачеву, может прийти к власти в такой авторитарной по своей политической культуре стране, как Россия. Большинство западных обозревателей оценило феномен Горбачева просто как исторический инцидент, исключение из общего правила (24).

Становится более понятной в этом контексте и охватившая большинство советологов “горбимания”. Дело в том, что они представляли Горбачева как чудесным, провиденциальным образом появившегося в России реформатора-западника, чуть ли не первого со времен Петра Великого. Аналитики перестали давать уверенные и точные прогнозы, ожидая, затаив дыхание, сумеет ли лидер СССР избежать ловушек советской политической системы и национальной культуры, настроенных против него и его преобразований. Разумеется, никто и не помышлял о возможности какой бы то ни было демократической альтернативы Горбачеву. Закономерно, что после неудачной попытки переворота в августе 1991 г., в котором роль Горбачева оказалась не совсем однозначной, ряд выдающихся аналитиков испытали шок, который едва смогли скрыть [4](#).

Связывая реформу лично с Горбачевым, западные специалисты упорно не замечали уже просто массовой к этому времени поддержки демократического движения в СССР. Российское общество совершенно не учитывалось ими как полноправный соучастник процесса социальных изменений — и не потому, что советологи не имели необходимой информации, т.е. ничего не знали об обществе в России, а как раз потому что они переоценивали свои знания. Большинство советологов стремления россиян к демократии казались очень слабыми, слишком оторванными от глубинных основ российской политической культуры и потому ими преуменьшалась способность граждан бросить вызов режиму. Карьеру Горбачева советологи рассматривали лишь как подтверждение установленного ими общего “правила” — политические изменения в России могут быть инициированы отдельной личностью, которая в силах нарушить ограничения, налагаемые всей политической традицией страны. Подобное предположение, в свою очередь, укрепляло ученых в убеждении (разделяемом в том числе и такими знаменитостями, как С. Уайт, Р. Даниэльс, Д. Хаф), что демократические преобразования могут реализоваться в России только в том случае, если у власти останется Горбачев.

Советологический миф, как теперь можно констатировать с полной определенностью, не позволил западным экспертам принять во внимание со временем все более проявляющуюся неспособность Горбачева к процессам политических преобразований, а также растущую популярность Ельцина и радикальных демократических движений. Этот миф оказался неадекватен и для оценки политического влияния идей национально-культурного возрождения России, равно как, наконец, и тех альтернативных российских политических традиций, которые, не будучи полностью уничтожены коммунистическом режимом, оказались востребованы в процессе восстановления гражданского общества.

ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

А что, если бы советология с самого начала использовала и другой подход? Если феномен Горбачева ее представители рассматривали бы не вне традиционных образцов российской политической культуры, а как закономерный компонент ее нормальной эволюции? Тогда, возможно, ее предсказания в большей степени соответствовали бы реальному ходу истории?

Критикуя прежние советологические теории, Маколи доказывает, что различный выбор источников может привести к совершенно неодинаковым толкованиям российской политической культуры. Не принимая представления о ней как об унитарном явлении, она предлагает изучать официальные, и неофициальные образцы политической культуры, находя возможные разные интерпретации их взаимоотношений. По мнению Маколи, использование источников, выделенных Брауном для характеристики российской политической культуры, приводит к далеко не однозначным выводам. Всякое заранее сформированное определение политической культуры может получить более или менее надежное подтверждение с помощью отсылки к соответствующему набору текстов. Например, книга Т.Готье “Путешествие по России” идеально подходит для оппонирования одноименному сочинению его современника маркиза де Кюстина, популярные анекдоты позволяют сформировать иной образ советской повседневности, чем тиражируемая в официозных сочинениях идеология “нового советского человека”. Несложно найти историков, оспаривающих мнение об исключительно авторитарной политической традиции России, — стоит лишь ознакомиться с работами С.Пушкарёва, В.Леонтовича, П.Виноградова, Я.Уолкина или С.Фредерика Старра.

Маколи права: российскую политическую культуру принципиально нельзя ограничить рамками унитарно-абсолютистской традиции. Такое сужение панорамы общественной мысли неизбежно приводит к политическому и историческому детерминизму. Более того, “традицию” вообще нельзя отождествить с реальной политической действительностью. Если мы исходим из обратного предположения, тогда любой политический кризис, приводящий к системным изменениям, должен заставить нас каждый раз заново оценивать политическую культуру народа. Работы по немецкой политической культуре уже давно показали, что с односторонними выводами легко попасть впросак. Так, ученые поначалу определили, что патриархальная, авторитарная семья в Германии создает устойчивую тенденцию к развитию в ней слепого повиновения властям, ксенофобии и антисемитизма. А поколение спустя аналитики сочли Германию страной с “демократической и режимной законностью и активной политической культурой”. Такая, с позволения сказать научная, акробатика резко подрывает прежде всего уверенность в том, что основные политические ценности и предпочтения народа сохраняют минимальную устойчивость по отношению к любым изменениям. А если подобной устойчивости не наблюдается, то отпадает всякая возможность использовать эти ценности в качестве надежного критерия стабильности политической системы.

Алмонд, тем не менее, предполагает, что столь поразительные преобразования в политической культуре могут являться следствием лишь исторических событий катастрофического характера типа военного краха, оккупации, экономической реконструкции и т.д. Мне, однако, представляется, что резкое и полномасштабное преобразование действительно фундаментальных ценностей и верований выглядит не очень правдоподобно, если до этого времени определенный сегмент уже существующей политической культуры не формировался под непосредственным влиянием тех идей, которые в результате трансформации системы оказываются господствующими.

Теория политической культуры, чтобы сохраниться как надежная методологическая основа научного анализа, должна посвящать себя изучению происходящих сегодня в российской политической культуре изменений. Ученым следует учитывать при этом, что политическим преобразованиям далеко не всегда сопутствуют описанные Алмондом критические ситуации. Только та методология, которая окажется в состоянии рассмотреть политические изменения как длительный социальный и культурный процесс, позволит нам правильно понять фундаментальные истоки недавних событий в бывших социалистических странах. Несмотря на неудачи теории политической культуры, я полагаю, что при уточнении базовых

понятий она даст нам все-таки лучший способ понимания причин краха коммунизма и перспектив российской демократии. Но для своей реабилитации теории политической культуры следует убедительно ответить на два вопроса: 1) почему коммунизм рухнул в России так внезапно и быстро? 2) какие политические идеалы могут прийти на смену коммунистической идеологии в постсоветской России? Каждый ученый понимает, что общественные ценности не формируются внезапно. Жизнеспособная концепция обязана определить, каким образом неофициальные политические ценности транслировались от одного поколения к другому и какая часть населения была вовлечена в их сохранение и передачу (принимая, разумеется, во внимание факт довольно долгого сосуществования и взаимодействия этих ценностей с идеологией правящего режима).

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Хотя доминирующими подходами к политической культуре оставались "поведенческий" и "субъективистский", в науку постепенно получил признание иной подход, называемый "символистским" или "интерпретационным". Его развивали такие ученые, как А.Вилдавский, Л.Диттмер, Х.И.Виарда и Р.Такер.

Интерпретивисты давали более широкое определение культуре, чем их оппоненты-бихевиористы. Согласно Такеру, такое расширенное толкование призвано было переориентировать науку о политической культуре с анализа политических систем как отражения форм поведения (для бихевиористов психологические предпочтения граждан могут быть интерпретированы только через анализ образцов их реального политического поведения) к их восприятию как "комплексов реальных и идеальных культурных образцов". Иначе говоря, интерпретивисты предполагали, что образцы политических действий граждан и их настроения оказывают влияние друг на друга, и политическая культура формируется путем их сочетания. Как пишет К.Гиртц: "Веря вместе с Максом Вебером, что человек является животным, опутанным сетями значимости, которые он сам сплел, я считаю культуру этими сетями, поэтому анализировать ее должна не экспериментальная наука, занимающаяся поиском закона, а интерпретирующая наука, ищущая значение" (25, с. 88).

Такое постбихевиористское определение политической культуры восходит к антропологии. Не ограничивая политическую культуру субъективной ориентацией в политике, антропологи исследуют ее как "изученный и передающийся путь жизни" (6, с.173-190; 26). Этот "путь жизни" имеет "откровенные" аспекты, например, образцы поведения, наблюдаемые в обществе, и аспекты "тайные", включающие в себя те знания, отношения и ценности, которыми обладают члены сообщества и которые они передают из поколения в поколение (6, с.176).

Антропологический подход к политической культуре требует выяснения ценностных детерминант сознания на более длительный интервал времени. Диттмер рассматривает знание о политической культуре как "раздел политической науки..., касающийся контекста значения политического действия" но не "непосредственно действия... за исключением тех, которые влияют или некоторым способом воздействуют на контекст значения" (27, с.11).

Ученые, рассматривавшие специфическое поведение наиболее существенной функцией политической культуры, оценивали интерпретирующий подход как "простую политическую этнографию". Даже те из них, кто частично соглашался с интерпретивистами, например, Уайт, тем не менее вместе с Алмондом были убеждены в том, что политическая культура должна "обеспечивать структуру, в пределах которой могут располагаться образцы политических верований и поведения, рассматриваемых исторически", являясь тем фактором, "который будет влиять и ограничивать — хотя и не определять — будущие образцы развития в политической системе" (21, с.20). Диттмер, однако, добавлял, что если каждый будет использовать антропологическую концепцию символа при поиске значений политического действия и характеристике политических структур, аналитическая полноценность теории политической культуры будет не только сохранена, но и увеличена.

Важность символического подхода для понимания и передачи ценностей в обществе после долгого времени получила научное признание. Британский историк У.Бейджот назвал символы "театрализованной частью правления", т.е. теми общими традициями и идеалами, которые усиливают его социальные обязательства (7, с.559). Согласно Диттмеру, символическая структура в обществе действует как набор кодов, придающих порядок и осмысленность передаваемой информации (27, с.12). Трансляция политических ценностей посредством символов может быть определена как политическая связь, а изучение ее системы дает аналитику возможность рассматривать явление политической культуры в принятых современной культурологией терминах контекста и его значения. Кроме того, знание символики политической связи обеспечивает аналитика конкретными, эмпирическими данными, позволяя ему установить внутреннюю структуру культуры, обладающую определенной независимостью от социальной структуры и даже от общественной психологии (7, с.557). Гиртц предлагает изучать символы подобно любому другому событию политической жизни, ибо они "общественны как брак и наблюдаемы как сельское хозяйство" (25, с. 89-90).

Политические символы не только выражают специфический взгляд на мир; тщательное изучение их содержания в течение какого-то времени убедительно демонстрирует изменения политических предпочтений. Диттмер относит это к "металингвистическим" свойствам политических символов — встречающиеся в политической жизни факты интересны не сами по себе, но в силу проявляемого с их помощью отношения к другим фактам, в свою очередь придающих первым дополнительные (коннотативные) смыслы (7, с.568). В Советском Союзе, например, борьба за сохранение исторических памятников явно отражала признание россиянами традиционных, религиозных ценностей. Ностальгия по сельской жизни, столь ощущаемая в произведениях авторов "деревенской прозы" и абсолютно несовместимая с принципами "нового советского человека", поэтому косвенно оказывала эмоциональную и моральную поддержку российской патриотической оппозиции в 70-х — 80-х годах (28).

Простая ссылка на исторические события, на упоминание и тем более изучение которых наложено официальное табу, может считаться попыткой защиты тем или иным автором альтернативных государственным политическим ценностей. Через определенное время обсуждение такого рода табуированных фактов становится механизмом трансляции оценок и восприятий, оппозиционных навязываемой системой. Когда политические символы приобретают ясную и четкую структуру, они становятся не только аргументом в практических спорах, но и фундаментом для формирования новых политических мифов (7, с.578-579).

Большевицкий переворот октября 1917 г. в немалой степени способствовал возникновению величайшего политического мифа — о предательстве последователями Ленина российской демократии. Не стоит забывать, что этот миф вдохновлял многих борцов с советским режимом. Эти оппоненты коммунизма стали родоначальниками движения граждан за новый, более совершенный, политический строй и за новую, отвечающую их требованиям, культуру (6). Введенное Э. Уоллесом понятие "целевой культуры" (не соответствующей наличной политической реальности, но формирующей общественные идеалы, требующие ее изменения) облегчает понимание традиции политической оппозиции внутри России после 1917 г. и той относительной легкости, с которой коммунизм был в конечном счете свергнут. Дело в том, что "целевая культура" — это не просто "субкультура", характеризующаяся специфическими ценностными ориентациями,

но более широкое образование, которое в отличие от классовой, расовой, этнической и других маргинальных “субкультур” способно преобразовать политическую культуру в целом. И за границей, и внутри страны такая альтернативная “целевая культура” существовала, будучи представлена не только отдельными интеллектуалами, но даже группами населения, например, духовенством, по самому своему положению противостоящему официальной коммунистической идеологии.

Многие аналитики все еще ищут “дымящийся пистолет”, т.е. автономные от государства учреждения, подтверждающие существование в СССР гражданского общества (29). Очевидно, что такие учреждения не могли развиваться в коммунистических странах, где партия монополизировала политическую жизнь. Поэтому применительно к социалистическим странам кажется логичным несколько иначе определять гражданское общество, усматривая его зачатки в тех социальных группах, которые постоянно, даже на знаково-символическом уровне, пытались отстоять свою независимость от государства несмотря на противодействие последнего.

Интерпретирующий подход к политической культуре открывает новые и лучшие, на мой взгляд, перспективы для оживления в том числе и постсоветских исследований, устранив два основных недостатка господствующего подхода — представления, а во-первых, об однородной и стабильной, а не многоликой и изменчивой политической культуре, во-вторых, о возможности измерить степень распространения тех или иных ценностей в обществе посредством количественного анализа образцов поведения. После рассмотрения основных положений теории политической культуры, применяемых к советским исследованиям, мы все еще можем сомневаться, помог бы аналитикам интерпретационный подход в предсказании краха коммунизма в Восточной Европе и Советском Союзе или нет. Абсолютная уверенность в прогнозах политических изменений едва ли допустима, но я полагаю, что пророчества советологии сбывались бы чаще, если бы ее представители распознали значение символов российской политической и культурной альтернативы. В начале 80-х годов несколько эмигрантов пытались пробить брешь в этом направлении исследований, но к их анализу остались глухи на Западе (30).

Раскрытие запретных советских архивов восполнит многочисленные пробелы в наших знаниях тех причин, которые привели коммунизм к краху, но не стоит преувеличивать ценность и сенсационность предполагаемых открытий, ибо, как справедливо заметил П.Рутланд, провал в оценке советологами перспектив коммунизма произошел не из-за недостатка информации, а из-за недостатка воображения (31). Действительно, мы должны обладать большим воображением, чтобы уже сейчас постараться увидеть Россию в XXI в.

1. Цит. по: Almond G. A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science. L., 1990, p. 559.
2. Цит по: Adams W. Politics and the Archeology of Meaning. — “Western Political Quarterly”, 1986, vol. 39, p. 559.
3. Almond G. Comparative Political Systems — “Journal of Politics”, 1956, vol. 18, № 3.
4. Almond G., Verba S. The Civic Culture. Political attitudes and democracy in five nations. Princeton, 1963.
5. См.: Barghoorn F. Soviet Russia: Orthodoxy and Adaptiveness — Political Culture and Political Development. Princeton, 1965, p. 450-511.
6. Tucker R. Culture, Political Culture, and Communist Society — “Political Science Quarterly”, 1973, vol. 88, № 2, p. 175.
7. Dittmer L. Political Culture and Political Symbolism: Toward a Theoretical Synthesis — “World Politics”, 1977.
8. Bluhm W. Ideologies and Attitudes: Modern Political Culture, New Jersey, 1974, p. 11.
9. Rosenbaum W. Political Culture. N.Y., 1975, p. 51.
10. Barghoorn F., Remington T. Politics in the USSR. Boston, 1986.
11. См.: Kanet R. The Behavioral Revolution and Communist Studies. N.Y., 1971, p. 18.
12. См., например: Brown A. Ideology and Political Culture — Politics, Society and Nationality inside Gorbachev’s Russia. Boulder, 1989, p. 17-18; White S. Continuity and Change in Soviet Political Culture: An Emigre Study. — “Comparative Political Studies”, 1978, vol. 11, p. 381-395.
13. Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen: Daily Life in Totalitarian Society. Cambridge, 1961.
14. London I., London M. A Research-Examination of the Harvard Project on the Soviet Social System: I. The Basic Written Questionnaire — “Psychological Reports”, 1966, vol. 19.
15. См.: Zaslavskaya T. The Novosibirsk Report — “Survey”, 1984, vol. 28, № 1.
16. Politics, Work, and Daily Life in the USSR: A Survey of Former — Soviet Citizens. Cambridge, 1987. В особенности см. статьи Д. Барри, Б. Д. Сильвера и В. Циммермана.
17. Brzezinski Z., Huntington S. Political Power: USA/USSR. N.Y., 1962, p. 9-14.
18. Mead M. Soviet Attitude toward Authority. N.Y., 1955.
19. См.: Gorer G., Rickman J. The People of Great Russia: A Psychological Study N.Y., 1962; Gorer G. Some Aspects of the Psychology of the People of Great Russia. — “The American Slavic and East European Review”, 1949, vol. 8.

20. Brown A. Soviet Politics and Political Science. N.Y., 1974, p. 89-104.
 21. White S. Political Culture and Soviet Politics. N.Y., 1979, p. 22.
 22. Цит по: Political Culture and Communist Studies (ed. A. Brown). N.Y., 1985.
 23. См.: Political Culture and Political Change in Communist States. N.Y., 1977, p. 13.
 24. См. дискуссию: The Strange Death of Communism: An Autopsy. — "The National Interest". 1993. № 31.
 25. См.: A Genealogy of of Political Culture. Boulder, 1991.
 26. Fagen R. The Transformation of Political Culture in Cuba. Stanford, 1969, p. 6.
 27. Dittmer L. Comparative Communist Political Culture. — "Studies in Comparative Communism", 1983 (Spring-Summer).
 28. О патриотическом движении в Советском Союзе см.: Dunlop J. The Faces of Russian Nationalism. Princeton, 1983. О писателях деревенской прозы см.: Petro N. The Project of the Century: A Case Study of Russian Nationalist Opposition — "Studies in Comparative Communism", 1987, (Winter-Fall), p. 235-252).
 29. Hosking G. The Beginnings of Independent Political Activity. — Hosking G. The Road to Post-Communism. L., 1992, p. 1.
 30. Самой амбициозной попыткой был четырехтомник: The Soviet Union and the Challenge of the Future. N.Y., 1987-1989 (ed. Kaplan M., Shtromas A.). Яркий контраст в эмигрантских и западных дебатах о жизнеспособности СССР отражен в работах Т. Макнейла и В. Краснова в Т.1, с.315-397.
 31. Rutland P. Sovietology: Notes for a Post-Mortem — "The National Interest", 1993, № 31, p. 122.
-

1 Согласно мнению одного из приверженцев рассматриваемого направления, только те ценности реальны, которые выражены публично и "переданы, изучены и широко распространены в течение существенного периода времени" (8).

2 Слово "career", например, было переведено просто как "карьера" без учета того негативного оттенка, которое имеет выражение "сделать карьеру" (making a career) в русском языке (14, с.1024, 1029).

3 Единственное исключение, которое я смог найти, — это работа А. Брауна (см. 12), где утверждается, что горбачевские реформы были подготовлены элитарной "политической субкультурой", легализованной XX съездом КПСС. Соотношение этой субкультуры с доминирующей авторитарной политической культурой не получает, однако, у Брауна надлежащего освещения, и это в свою очередь не позволяет ему разрешить естественно возникающую проблему: почему именно в середине 80-х годов у власти в СССР оказался именно Горбачев.

4 Самую экстравагантную версию событий 1991 г. предложил Д. Хаф. По его мнению, Ельцин был марионеткой Горбачева, а попытка путча — мастерским эпизодом в гигантской стратегии Горбачева по трансформации Советского Союза.